

Роберт Мамиконян

#хроники_лица

#родинаэтомы



#заметкидоброгодантиста



начало

Роберт Мамиконян Заметки доброго дантиста. Начало Серия «Одобрено Рунетом»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63864147

*Роберт Мамиконян. Заметки доброго дантиста. Начало: АСТ; Москва;
2021*

ISBN 978-5-17-132800-9

Аннотация

Вы знаете, что такое дентофобия? Это патологический страх перед стоматологами и лечением у них. В кратком резюме доктора Роберта в списке ключевых навыков значится «многолетний успешный опыт» в работе с подобными пациентами. На практике это выглядит так: в кабинет входит человек с глубочайшей психологической травмой, нанесенной «карательной» советской стоматологией, а через минуту из-за двери раздается хохот – пациента, врача, ассистента.

В своих литературных опытах, да и в жизни в целом, Роберт Мамиконян использует те же приемы, что и в рабочем кабинете – удивить и рассмешить.

В этой книге не будет баек про работу стоматолога. Это – признание в любви. К друзьям позднего детства и ранней юности,

ко времени – недавнему, но уже такому далекому. Признание это, как и всё в подростковом возрасте, – одновременно и трогательное, и смешное, и даже где-то грубоватое, и, конечно, немного грустное.

Загляните в эту приоткрытую дверь – посмейтесь, удивитесь, прослезитесь и избавьтесь навсегда от дентофобии, которой, если верить статистике, страдает каждый третий человек на земле.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Лицейские хроники	7
Вместо предисловия	7
Памяти юности	9
Дверь и анархисты	12
Чего от нас хотят евреи	14
Настя как диагноз	18
Иудейские боевые гусли	23
Адюльтер с доской	42
Бесноватые и Трубный глас	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Роберт Мамиконян

Заметки доброго дантиста. Начало

© Роберт Мамиконян, текст, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Посвящается Р.

Благодарности:

Моим папе и маме, что каждый по-своему развивал во мне веру в себя, моей жене, что стала мне другом, моим детям – за свет в тоннеле бытия

Дмитрию Хитарову и Наринэ Абгарян за помощь и поддержку

И всем, упомянутым в рассказах

Без всех них все это было бы невозможно

Лицейские хроники

Вместо предисловия

А был ли Лицей? Как принято сейчас говорить в соцсетях: «Меня часто спрашивают об этом».

Как точка координат на карте Москвы – безусловно. И сейчас, в несколько видоизмененном виде, его можно наблюдать на просторах юго-запада столицы.

Но лишь на энном году стоматологической практики и работы еврочиновником я понял, что это был не просто лицей. Там в нас, его учениках, сформировались – или мое воображение так рисует – основные понятия и архетипы бытия. Дружбы, любви, человеческого общежития. Именно в тех стенах со многими из нас случились первая настоящая боль утраты и первая же радость понимания.

Каждый из вполне земных, реальных людей наполнялся смыслами и подробностями, которые в дальнейшем помогали не просто выживать, но и видеть суть происходящего. Можно с некоторой уверенностью сказать, что Лицей, при всей его оторванности от повестки тех безумных лет, смог дать нечто большее, нежели просто знания (часто неиспользуемые в дальнейшей жизни). Лицей научил нас думать. И немного фантазировать.

Кстати, о фантазии. Многие из них, прототипов героев моих историй, читали эти заметки и отзывались о них поразному. Их высказывания содержали как полный восторг документальностью повествования, так и обвинения в полном несоответствии текста реальности.

Именно поэтому во мне родилась мысль, что эти воспоминания достойны печати.

Почти все имена изменены, совпадения – бессмысленны и жестоки.

Роберт Мамиконян

Памяти юности

Намедни один мой знакомый с беккетовской экзистенциальной безнадежностью и трагизмом девяносто девятого уровня сказал, что ищет нового садовника. Мне стало страшно.

Я ведь тоже оброс. Не волосами, но подробностями. Подробности и обстоятельства размягчают ткань бытия, оголяют канву, по которой ты идешь по жизни.

Ушел в мир иной Децл. Я никогда его не слушал. Царство небесное и светлая память. Мы были почетными сидельцами клуба «Инфинити», который, кажется, принадлежал его отцу. Убейте меня, не вспомню, какая музыка там играла, но спасибо Арчилу, я провел там много бессмысленных ночей.

Юность. До чего же хорошее время. Еще нет подозрений, что если долго бьешься головой об дверь и та не открывается, то это, возможно, не дверь вовсе, а стена. Или, может быть, нужно не биться, а тянуть на себя. Пробьемся!

Вопросы, конечно, были, но немного. Зато ответов существовало в избытке. Любую вечную проблему можно было решить десятком разных способов.

Если к утру мы не оказывались на чьей-нибудь даче, происходило чудо. Клуб исчезал, оставались загаженные столы и диваны, полупустые стаканы с осетинским виски, две сонные уборщицы, возникающие будто из-за кулис, и кинотеатр. Да!

Клуб был в здании Киноцентра на Красной Пресне (он потом стал «Соловьем», а сейчас его и вовсе снесли). И сеансы начинались в 09:00. С семи до девяти вполне можно было покемарить на диванах – Арчила и нас в придачу знали, нежно любили и не гнали – и пойти на первый сеанс.

Так, со спящим Арчилом на одном плече и Андреем на другом, я посмотрел «О, где же ты, брат» Коэнов. По привычке – на последнем ряду. Я тоже собирался заснуть, но братья меня пленили. Навсегда.

Зрителей – только мы. Под ногами хрустит вчерашний попкорн. Где-то между креслами валяется использованный тест на беременность. Отрицательный, кстати. Хотя запаха нет, значит, тест принесли с собой. Во мне живут внук гинеколога и дедуктивный метод.

Не протрезвевший Андрей смеется – как, мол, я разглядел результат. Сам не знаю, но близорукости еще не было, как и двадцати двух пациентов в день.

Друзья спят на мне. Я стараюсь не шевелиться, чтобы не разбудить их.

Друзья. Кажется, что они будут со мной всю жизнь. И никогда не уйдут.

Вот и 11:00 уже. Титры. Включили свет. Встаем, потягиваемся.

– Хороший фильм?

– Да. Андрей, посмотри потом. А ты, Арчил, – нет.

Он и не собирается.

При полном освещении рядом обнаруживается коробка от теста на беременность, три бутылки из-под «Хайнекена», банки из-под «Кока-колы» и «Принглс», обертка от женских прокладок. Ночью тут происходило, видимо, нечто совершенно эпическое.

Свежий воздух. Видна ограда зоопарка.

– Может, сходим? – Арчил очень любит зоопарк.

– Нет. Спать.

– И я на метро, мне прямая ветка. Тем более, Арчил за рулем – это всегда страх.

– Постой. Заберу книгу. В машине оставил. Курт Воннегут. Не ехать же пять станций без книги.

С недосыпа, что ли, такая пустая и ясная голова! И так хорош Воннегут. И так много ответов. И очевидно, что все это – двери и никаких стен.

И ничего не гложет, а должно бы. Вот только выпускные и вступительные, и... заживем.

Юность.

Лицей.

Дверь и анархисты

В первый раз мы с Розенбергом оказались в милиции по подозрению... Продолжать даже не хочется – ну, в чем можно было подозревать таких милых ребят, как мы? Мы неплохо знали органическую химию и помнили все основные пункты реформы Солона. А забрали нас по подозрению в порче двери универмага. Вот так непоэтично. Порча двери универмага. Звучит как «мастурбация в сельпо».

Проблема была в том, что люди, совершившие это злодеяние, уходя от милицейской погони, пробежали мимо нас. Поздоровавшись на бегу, они скрылись за поворотом. Это были районные анархисты, с которыми я приятельствовал. Хотя они, наверное, смутно помнили подробности наших взаимоотношений, поскольку трезвыми я их никогда не заставлял.

Милиция подумала, что лучше задержать тех, кто стоит, чем догонять тех, кто убегает. Логично.

Уже в участке Розенберг спросил у меня, зачем те парни сломали дверь универмага.

– Это же анархисты. Они борются с мировым капитализмом, – заявил я.

– Знаешь, судя по запаху, который пронесся мимо нас, они должны бороться с хроническим алкоголизмом. Час дня ведь.

Можно и так сказать. Но нужно ли давать точечные меди-

цинские определения сложным социальным процессам? Так всю мировую историю объяснишь голодом, абстиненцией и тягой к коитусу.

Милиция хотела знать, кто мы и куда шли. Как внук гинеколога, я всегда знал, чем смутить консервативно настроенных мужчин и как заставить их с тобой расстаться.

– Знаете, мы учащиеся Лицея... – начал было Розенберг, но я его прервал:

– ...и у нашей одноклассницы начались бурные незапланированные месячные. Я это связываю с первой стадией приема противозачаточных на фоне раннего начала половой жизни. А поскольку я из врачебной семьи, она попросила меня купить адекватных данной ситуации прокладок. В универмаге. Вот!

Я достал прокладки.

В глазах милиционера возникли тоска и печаль по поводу будущего страны с таким подрастающим поколением.

– А он? – спросил милиционер, показывая на Розенберга.

– А мы всегда вместе, – сказал я, добивая, как сейчас понимаю, надежду милиционера на светлое будущее.

Чего от нас хотят евреи

Было мне лет четырнадцать или около того. Шел я по Лубянке, вижу – стоит старик интеллигентного вида, книжки разложил на асфальте – продает.

Неплохо заработав летом и обладая тягой к стихийной покупке книг, я остановился.

Блаватская, «Соляные символы древних славян», «Жорес» из серии ЖЗЛ и...

– «Чего от нас хотят евреи». Звучит-то как многообещающе, – сказал Розенберг, листая книжку. – Где брал?

– Шел я по Лубянке...

– Слушай, перестань читать эту гадость, – сказала моя девушка Женья, собирая рюкзак. – Я на факультатив не остаюсь. Пока. И, Розенберг, выброси это.

– Это твой парень купил, кстати. Ты его довела до антисемитизма, не я. Вот и страдай.

Женья показала язык и ушла.

– А потом, это лучшее, что я читал после «Дюны», – крикнул Розенберг ей вслед.

К нам подсел Андрей.

– Кто сказал «Дюна»? Ого! – сказал он, взглянув на обложку. – И как идет?

– Мне нравится.

– Дашь потом почитать?

– Это Князя.

Андрей восторженно посмотрел на меня.

– Доконали тебя евреи, значит?

– Да я шел по Лубянке просто...

– «Чего от нас хотят евреи»? – сказал Каплан с соседней парты, оторвавшись от «2400 задач по химии». – Дадите потом почитать?

– Вставай в очередь, – сказал Андрей.

– Мне бы очень хотелось узнать, чего от нас хочет Клавдий Несторович.

– О нет, – сказал Розенберг, – это второй том надо покупать: «Чего евреи хотят от других евреев». Там все драматичнее.

– А также дополненное и расширенное фрейдистское издание «Чего евреи хотят от самих себя», – сказал Андрей, ставший впоследствии психоаналитиком в Торонто.

Зашел Эпштейн. Помимо сезонного ринита, конъюнктивита, мучений в музыкалке и постоянных унижений от шпаны из соседней школы, он еще и отравился.

– Ребята, В. В. отпустит с факультатива по эволюционной биологии, как думаете? Мне докладывать. Но я не могу больше терпеть.

– Ну, иди в туалет, вытошни, – сказал я. – Или наоборот.

– Ой, ты что?! – смутился Эпштейн, – Я не умею выташнивать самостоятельно, а по большому хожу только дома. Розенберг, ты что, Роберту не рассказывал?

– Нет, блядь, не рассказывал! Извините, пожалуйста! Делать мне нечего, как рассказывать другу, где это Эпштейн может откладывать личинки, а где нет, – сказал Розенберг, листая книгу.

– Ну что ты так кипятишься, ты же меня со старой школы помнишь, думал, может, сказал при случае.

– Эпштейн, внимай по слогам. В моей жизни не бы-ва-ет случаев, когда я вспоминаю о том, как и где ты какаешь.

– Да ну вас! Плохо мне, в общем. Ну что, отпрашиваться? Или дотерпеть? Были бы деньги, я бы «Ессентуков» выпил. Они меня успокаивают.

– Вот! А тем временем, – сказал Розенберг, смотря в книгу, – Векслер, кто бы это ни был, устроил французскую революцию, одна восьмая еврейской крови в Ленине сотворила такое, что смотри – десять лет не могут все его памятники доснести. Евреи построили СССР, потом развалили, подняли Голландию, потом ее обанкротили. Тааак... Британскую империю тоже мы, Великая депрессия, апартеид в ЮАР тоже на нас. И теперь посмотри сюда: вот человек, который не может покакать в школе и мечтает о боржоми.

– Настоящего боржоми сейчас нет, – печально ответил Эпштейн. – И что это ты такое читаешь? Чего от нас хотят... Розенберг, твой национализм довел тебя до стадии отрицания собственного отрицания.

– Нет, блин, он меня довел до того, что я читаю эту книжечку и наполняюсь восторгом. То рушат империи, то

строят. Пока ты тут не можешь вытошнить из себя котлетку.

– Она была рыбной, ты понимаешь? Я плохо переношу рыбу, ты же знаешь.

– Да, я как твой психотерапевт и биограф все знаю. А книгу я заберу на время. Динамично, смело, и прям гордость берет за предков.

Настя как диагноз

Настя была рождена, чтобы портить жизнь всем окружающим. В раннем детстве это была самая обычная девочка, но к десяти годам в ней выпестовалась мессианская уверенность в своей глубокой и неотвратимой болезненности. А также – в необходимости поиметь этой проблемой человечество в целом и каждого из близких в частности.

Настя медленно кончалась без какого-либо диагноза. От сквозняков она кашляла. От духоты ей было дурно. Летом от жары у нее все краснело. Зимой везде мерзло и синело. Осень и весна были промежуточными этапами с миксом симптомов, плюс хандра.

Раннее пробуждение – мушки перед глазами. Позднее – ватная голова. Повышенное атмосферное давление было залогом боли в затылке. Пониженное – в висках. При нормальном атмосферном давлении переходим к пункту «сквозняк». Тишина навеивала тоску и плохие мысли.

Можно было бы посетовать на скверную наследственность, но у Насти никто никогда не умирал скоропостижно со времен революции 1905 года. Даже ее прапрадед после падения Порт-Артура просто уехал в Китай и не вернулся, дабы не шокировать детей сценами агонии.

Тем не менее многое вызывало у Насти плохие воспоминания и ассоциации. Так, все фильмы с азиатами исключая

лись из-за прапрадеда. С немцами – из-за прадеда. Афганцы и вообще Восток напоминали о дяде. Самое странное, что при этом все члены ее многочисленной семьи всегда служили в различных НИИ и редакциях всевозможных газет.

Фильмы про детей вызывали ностальгию по детству. Про взрослых – страх перед будущим. И все это при ней нельзя было не только смотреть, но и обсуждать.

Все бы ничего, но Настя училась с нами в одном классе.

То есть мы прямо вот учились с этой барышней, документы упорно свидетельствовали, что мы – ровесники, но относились мы к ней, как к ветерану русско-турецких войн с половинным набором органов.

Когда мы шумели, у Насти начинало гудеть. Не знаю, где именно, но гудело сильно. Тишина тоже не была выходом, ибо вызывала инферналочку. Розенберг предлагал кому-нибудь из разнузданных и беспринципных людей с ней переспать. Но все, т. е. и я, и Арчил, и сам Розенберг, были вынуждены от этой идеи отказаться. Секс, даже в самом консервативно-пасторальном исполнении, мог сопровождаться и шумом, и тишиной, и сквозняками, и резкими движениями.

– Нет, – подытожил Розенберг. – Это ее убьет.

Просто тогда мы еще не знали о статичном сексе, открытии мандалы и тантре. Впрочем, как и сейчас.

От яркого света в классе Насте слепило глаза, и она не могла думать. От приглушенного света – тянуло зевать и ста-

новилось тошно на душе.

Наши учителя, многих из которых уволили бы из лагерей Пол Пота за излишнюю жесткость, боялись Насти, понимая, что каждое резкое замечание может остановить ее сердце. Только она могла без предупреждения встать и выйти с урока в туалет, держась за голову. Ведь все понимали – умирать идет. Так оно и было, потому что в туалете она тусовалась минут по двадцать пять. Потом возвращалась с лицом аббата Фариа и просилась сесть к окну. Там она, впрочем, сидела недолго. Сквозняк.

Лекарств Настя не пила. Изжога? Язва? Религия? Принципы? Она просто закатывала глаза и говорила: «Бессмысленно».

Народные средства тоже были бессильны. От мяты падало давление, от Melissa выскакивали прыщи, ромашка нарушала цикл. А цикл у Насти был сложный. Месячные длились месяц.

Сначала – тревога и ожидание. Причем всего класса. Потом они наступали, и все понимали, что апостол Иоанн в Апокалипсисе не соврал: всё может быть очень плохо. А потом дней десять шла нормализация систем жизнедеятельности. До следующего раза, который уже вот-вот.

Кофе, чай, кислое, сладкое, острое, пахучее, склизкое, красное, горячее и холодное Настя не потребляла. Потому что.

Мясо тоже не приветствовалось, но поскольку от овощей

ее пучило, а орехи раздражали нёбо, иногда приходилось.

Настя ела нехотя. Как бы делая одолжение. Но при этом могла уничтожить за раз суточный рацион десантной роты.

От мучного у нее краснели щеки (про глютен мы тогда не знали), что не мешало ей однажды на моих глазах заточить две пиццы. В одно лицо. Сохраняя отпечаток медленного, но неизбежного угасания на этом самом лице.

Будучи гуманистами, мы все терпели Настю, несмотря на то, что эта тварь не пропустила ни одного похода, выезда на природу или в музей. А ведь там ее, кроме обычного множества проблем, мучили насекомые, влага, ветер и пыль на экспонатах.

Мы терпели. Мы были человеколюбивы. Не по-товарищески было бы не поддерживать богатую больную девушку. Ведь это мог быть ее последний выезд на природу. Последний Окский заповедник. Последний Дарвиновский музей.

И вот эта стерва взяла и выжила. Более того, вышла замуж раньше всех девчонок в классе. И не за руководителя клуба взаимопомощи ипохондриков. А за молодого, красивого, жизнерадостного, хорошо зарабатывающего, здорового парня.

Он даже булимией не болеет. Или псориазом хотя бы.

Розенберг предполагает, что он мазохист. Или пытается искупить грехи своего деда, помогавшего немцам. Не знаю.

Как правильно отметил Розенберг, надо было оставить ее тогда в заповеднике. Когда она потерялась, уйдя пописать.

И рассказывала, что пописать не могла, потому что бобер пытался ее изнасиловать.

Надо было бросить ее среди бурелома окских лесов. Спасли бы парню жизнь. Хотя бобра жалко.

Говорят, что Настя вообще не изменилась и от всего ей плохо. И от шума собственных детей, и от запаха цветов, которые ей дарит муж-мазохист.

Единственное, в чем я уверен, так это в том, что на наших похоронах она будет сетовать на погоду и давление.

Иудейские боевые гусли

1. Диалектическая жопа

– Нет, знаешь, что тут самое прекрасное?

– Розенберг, брось ты на хрен эту ересь!

С тех пор, как я по оплошности купил книгу Александра Крамольного «Чего от нас хотят евреи» (я искренне думал, что это сборник анекдотов, что в некотором смысле оказалось правдой) и познакомил с ней Розенберга, тот стал фанатом творчества ее автора. Скупив еще пару его брошюр, Розенберг скрашивал перемены цитатами из них.

– Я не хочу тебя расстраивать, но завтра у нас физика и, судя по всему, нас на ней распнут.

– Да не переживай так, господи! Во-первых, мы – биохим. Они смирились, что мы неполноценные. Во-вторых, это же мы с тобой. О нас думают, как о жертвах неудачной операции на мозге.

– Только не шути больше по поводу жирных волос и физмата.

– Человеколюбие, Мамиконян?

– Нет, неумение смеяться над одной и той же шуткой по пятьсот раз.

– И в-третьих, человека по имени Платон Феофанович надо бояться всегда. Вне контекста грядущих контрольных.

Это ведь представитель уникальной и древней популяции евреев, которые думают, что если называть детей все более и более убищными древнегреческими именами, то их, в конце концов, начнут воспринимать древними греками.

– Розенберг! Все, что ты говоришь, каждое, блин, слово, можно и нужно...

– ...использовать против меня в суде?

– Нет, воспр...

– В жопу политкорректность, Роб!

– Ок. В жопу. Но это не меняет того, что завтра у нас древнегреческая физика, а послезавтра грядет избиение от соседей.

– Не переживай ты так! Арчил соберет DreamTeam нашего диспансера, и мы им покажем.

– Все, что мы им сможем показать, это разные формы и степени сколиоза.

– Ну так вот, возвращаясь к книге...

– Блин, опять?!

– Нет, ты только послушай: «Евреи посовещались и решили...»

– И что?

– Где, блядь?! Где эти евреи? Я хочу уехать к ним! Я хочу жить с ними! Они посовещались и решили? Серьезно? Ты смотришь заседания кнессета?

– Конечно. Каждый вечер. У нас выделенный кабельный канал дома. Единственный в Строгино, кстати.

– Ладно. Поверь мне на слово. Единственное, чем заканчивается совещание евреев, – это склока. В общем, я хочу написать автору и попросить свести меня с этими договороспособными евреями.

Зашел Арчил.

Вид у него был, как у грузинского автопрома.

– И все из-за тебя! – традиционно поздоровался он со мной.

– А можно не каждый раз хотя бы? Я за сегодняшний день уже понял, что во всем виноват я.

Дело в том, что на стрелку с соседней школой, которая должна была состояться через два дня, Арчил хотел набрать своих пацанов. Я был против. Эти милые ребята выглядели как сорокалетние больные циррозом канибалы. И мне казалось, что это неправильно. Как бы чего не подумали.

Вообще большая часть поступков армян исходит из этого опасения. Энное число веков мы даже собственное государство не восстанавливали, строя соседние, дабы не портить впечатление о себе.

Арчил был против такого подхода. Особенно сейчас, когда сборная Лицея по мордобою выходила не то чтобы блестяще.

– Все, короче! Жопа, короче! Полная жопа, короче, – красноречиво сказал Арчил.

– Слушай, сколько можно?! Потом ты поймешь, что это правильно. Да и вокруг столько евреев! Соблюдай последо-

вательность! Обвиняй их. Вон у Розенберга книжки с подробными инструкциями.

– Ах-ах-ах! А вот это, Мамиконян, тонко! А кого потом в очередь поставить? Интеллигенцию или панков, подрывающих основы?

– Да хоть пацанов с сервиса позвать. Пять-шесть человек...

Я покачал головой. Каким-то странным образом Арчил всегда верил, что я знаю, что делаю. Но это, естественно, было не так.

– Жопа, короче, – повторил Арчил.

Речь Арчила не отличалась разнообразием оборотов, но то, что он использовал, всегда звучали очень убедительно.

– Ну, это если смотреть не диалектически, – ободрил нас Розенберг.

– А если диалектически? – спросил я.

– А... а если диалектически, то мы в диалектической жо-
пе. И внутри нее будем испытывать единство и борьбу противоположностей и т. д. Я еще не разобрался до конца в диалектике, но штука полезная.

– Главное – обнадеживающая.

– Дааа! Старая добрая немецкая философия! Моя опора и отрада в минуты отчаяния.

Арчил посмотрел на нас, как на говно, и вышел.

– Курить пошел.

– Да, – сказал Розенберг. – Если завтра физику пережи-

вем... и драку, надо бы все-таки узнать, где эти совещательные евреи живут. Я хочу к ним.

2. Georgia on my mind.

И Люблино тоже

Вернулся Арчил.

– Либо я беру с собой своих пацанов, либо я не иду.

– Арчил, хватит пилить мне нервы. И так невесело.

– Мы были в травмпункте семь раз за месяц. Я мать реже вижу, чем травматолога! На хер этот ваш Лицей! Семь лет в обычной школе в Люблино провел, и все нормально. Школу держали как дом родной. А тут... Ты меня вообще слушаешь?

– Не ной, я думаю. И заметь, ты там семь лет «провел». А тут мы учимся. Биология, химия и немного травматологии.

– И о чем ты думаешь?! О чем? Ты наших видел? Те с нами даже драться не будут – плюнут на нас и уйдут.

– Это из-за очков и брекетов? – спросил Розенберг.

– Нэт! Морды у них болезненные. Даже такие отморозки убогих не бьют, – Арчил задумался и добавил: – Я надеюсь. В Грузии и в Люблино было так.

– Люблино и Грузия. Места, равноудаленные от нашего уютного мира факультативов по физике, олимпиад по математике и нещадных избиений у гаражей отроков со сколиозом, – сказал Андрей, снимавший все это на камеру.

– А ты, может, эту херню выключишь и поможешь нам?

– Чем помочь? Паниковать и тосковать по Люблино? Так вы и сами справляетесь. А это, между прочим, видеоархив – для истории.

Зашел радостный Каганович.

– Лазарев и Эпштейн согласны пойти с нами. Но при двух условиях.

– Что мы оплатим их похороны и будем там неистово плакать? – спросил Розенберг.

– Розенберг, прекрати свои шуточки.

– Короче, какие условия? И почему сами не пришли, министры, что ли? – молвил Арчил гневно.

– Ну, у нас же факультатив по химии, забыл? Я насилу у Клавдия Несторовича отпросился в уборную.

– Каганович, а ты специально разговариваешь сленгом хуя не видевших тургеневских барышень, а? Насилу, уборная, истончилось, душевный покой, блядь...

Арчил впервые улыбнулся. Все упомянутые гениталии его всегда радовали.

– Ой, прекрати, Розенберг, – сказал Каганович. – Эта твоя нарочитая маскулинность и игра в боевого иудея – смешны.

– У меня один дед партизаном был, второй Будапешт брал, а братья в Цахале служат, пока ты, чмо, тут насилу в уборные ходишь и не можешь во всей школе двадцать человек собрать на драку.

– Так, давайте эти ваши еврейские разборки оставим на

потом, а?

– Итак, про условия. Они просили на время драки музыкальные инструменты оставить у тебя в машине. Им же на музыку вечером.

– Блядь, – просто сказал Арчил, посмотрев с тоской в окно. – А второе?

– Ну, если мы это... в милицию попадем, я сказал, ты все уладишь.

– Блядь, – снова сказал Арчил.

– Ну, ты пойми, в их родословной это первые конфликты с правоохранительными органами со времен студенческих демонстраций 1904 года. Тем более у тебя же там свои люди, да?

– Не переживай. У вас стоит выбор между травмпунктом и реанимацией. Так что это – к Князю. У него больше связей в медицине.

Каганович озабоченно посмотрел на меня. Меня почему-то называли «Князь».

Разошлись. Возвращаясь на факультатив по физике, Каганович шепнул мне на ухо, чтобы убегаящий вниз Розенберг не услышал:

– Скажи, пожалуйста, а что такое Цахал?

– Израильская армия.

– Ах, точно! Все эти названия на иврите – таглит, гилель, цахал, кашрут – надо бы выписать.

– Иди уже!

3. Последнее пополнение в полку

– Еще Григорьев мне сказал, что может прийти, – сказал Андрей, двигаясь с камерой по пустой раздевалке.

– Это кто вообще такой?

– Савва Григорьев, из десятого «Д», с физмата.

– В физмате есть «Д»? – спросил Арчил.

– Ну, это у них там как штрафбат. Худшие из худших, – уточнил Розенберг.

– А Савва – самый неуспевающий в классе! – радостно добавил Андрей.

– То есть он почти как мы, – сказал Розенберг.

– Хуже. Он обладает порочной тягой не к естествознанию и не к гуманитарным наукам даже, а к искусству – считай, каннибал-любитель нетрадиционной ориентации.

– Он что, макрамешки вяжет? – презрительно сказал Арчил. Так я впервые за последние десять лет услышал слово «макраме».

– Нет. Он фанат фотографии. Так мы с ним и сблизились. Он фоткает, я снимаю.

– А вы уже целовались?

– Розенберг, иди на хер.

– А, я понял, о ком речь! Это тот, что со старым фотоаппаратом ходит как приведение перед школой и смотрит на деревья. Он же ненормальный! – сказал я.

– Да он птиц ищет, чтобы сфотографировать, – сказал Андрей, убирая камеру в рюкзак. – Он бердвотчер.

– А я что говорю? Ненормальный.

– Слушай, Князь, а Эпштейн ходит в брюках из коллекции осень-зима 1953 года, Каганович коллекционирует фотографии шахматистов, а Ковенский играет на валторне. Остальные собираются со скрипками идти на драку. Грех в таком музыкальном мире отказывать фотолобителю в праве подраться.

– Ну-у-у... он крупный, высокий. Это хорошо. Но он какой-то заторможенный, медленный, а еще эти огромные мясистые губы, как будто обведенные тенями глаза...

– Друзья, давайте уточним. Мы Савву на драку собираемся брать или на петтинг у костра в лесу?

– А его волосы? – не унимался я.

– С волосами-то что?

– Ты не забывай, что уебищные жирные волосы – это родовая черта физмата! Не может же человек, учась даже в десятом «Д», взять да начать анархию регулярного мытья и расчесывания волос!

– Да у него они торчат во все стороны на метр в диаметре!

– А Берта Марковна из-за этого его зовет «солнышко».

Так и говорит: «Солнышко, ты что – совсем тупой?»

– Тупой – значит, нам определенно подходит.

– Мамиконян, не убивайся, если драку переживем, поведем его к парикмахеру, договорились?

4. Четка и баскетбол

Костяк нашего боевого братства собрался за школой, чтобы Арчил покурил – вернее, скурил полпачки – и успокоился.

– Итак, что мы имеем, – подытожил Розенберг. – Нас шестеро, не считая Андрея, который как пидор, в худшем смысле этого слова, будет снимать все на камеру, а не драться, оправдывая это щедеушием и убогостью.

– Сука ты, Розенберг, у меня же несвертываемость крови.

– Дальше. Два небоевых еврея, в роду которых последние проблемы с ментами были в революцию 1905 года. Плюс они придут на стрелку с музыкальными инструментами, чтобы усугубить наш позор и компенсировать те унижения, которыми их подвергают родители, отправляя играть на валторне.

– Хотя Лазарев играет на флейте. Вполне боевой инструмент. Если встанем фалангой, – сказал я.

– Далее про состав фаланги, – продолжил Розенберг. – К нам присоединилось трое спортсменов. Два баскетболиста. Один качается на ветру, даже когда нет ветра, а у второго детально видна грудная клетка, даже когда он не потягивается. Из плюсов – они чистокровные русские. У одного даже фамилия Голицын, и его отец претендует на членство в Дворянском собрании, что бы это ни значило в наши дни. Так что можно их поставить впереди по центру, чтобы сбить на-

кал национальной ненависти противников. Плюс, если среди них есть монархисты, Голицына они определенно бить не будут. Может, на него надеть майку с фамилией?

– Я тоже вообще-то русский! – обиженно сказал Андрей.

– Нет, – сказал Розенберг.

– Что значит «нет»?

– «Нет» значит, что на роль среднестатистического русского юноши ты не подходишь.

– С хера ли?

– С того сочного хера, что в данном контексте национальность – это вопрос не крови, а образа. А ты картавишь. Болееешь. Бледен, как хер альбиноса. В каноничном образе такого нет.

Арчил засмеялся. Больше всего он любил метафору про член альбиноса.

– Розенберг, может, тебе основать нацистскую партию? – сказал Андрей.

– Так, двигаемся дальше, – проигнорировал это замечание Розенберг. – Из спортсменов с нами еще чечеточник Володя.

– Ой, бля, точно, – сказал я.

«Чечеточник Володя» был чечеточником. В самом прямом и трагичном для подростка смысле этого слова. Одевался он, как работник американского кабаре времен сухого закона. То ли крупье, то ли пианист – непонятно. Он носил жилетики и самую чмошную лакированную обувь на свете, за что его гнобили даже те, кто играл на валторне. Потягать-

ся с блеском его туфель могли лишь его вечно набриолиненные каким-то жиром волосы. Когда Володя заговаривал с тобой, было ощущение, что тебя спрашивают, повторить ли тебе напиток.

Ходил он всегда извиняющейся походкой, слегка крадучись, чтобы его блядская обувь не стучала. Эта самая обувь особенно бесила неврастеников в рядах наших учителей, а это был почти весь педсостав Лицея. Володю гнобили, чтобы он отказался от лакированных туфель: ругали, называли кавалергардом, цаплей и подкованной клячей, грозились исключить и отправить в школу для нормальных детей, где его забили бы до смерти на первой же перемене. Но поскольку формально обувь была сменной, а Володя – упорным дебилом, он продолжал ходить в ней.

5. Алла, Атес и мамелюк Василенко

Еще на драку шли фантаст Алла, Атес и араб Василенко.

Аллу звали Олегом, но совокупность дефектов дикции у него была такой, что, когда в начале учебы в Лицее кто-то из учителей спросил его имя, Алла ответил: «Олег». Но так, что учитель переспросил:

– Как? Алла?!

Так Олег и стал Аллой.

Поскольку его жизнь так и так была адом, новая кличка не сильно ему подгадила. Тем более что на досуге он писал

альтернативную фантастику. Алла выглядел странно даже в кругу остальных пишущих альтернативную фантастику людей, что само по себе было подвигом. Сидела эта публика обычно в каком-то ms-dos чате и раз в сезон собиралась на лавочке в парке, чтобы обсудить творчество. У Аллы-Олега были кудрявые волосы, которые он прятал под... кожаной каской. А еще он носил фиолетовые, будто бы пластиковые ботинки.

Атес был горский еврей из Нальчика. Попав в Лицей чуть ли не в день приезда в Москву после победы в какой-то олимпиаде, он отличался своеобразным региональным говором, который и подарил ему его кличку.

– Атес приехал, – сказал он однажды.

Оказалось, что «атес» – это «отец». Так нашего одноклассника с тех пор и называли. Даже не помню, как его звали по паспорту. У Атеса, по меркам Лицея, было все хорошо со здоровьем. Минус пять зрение, травма мениска и искривление зубов в трех плоскостях. Из-за последнего он носил во рту такое количество изобретений садистов-ортодонтонтов, что обедал обычно час, катая во рту протерто-мятое и заглатывая это, как птенчик. Зрелище это выглядело еще ужаснее описанного.

Мамелюк Василенко был чистокровный славянин, украинец, характер – нордический, стойкий. Но был он черным как араб, чернее некуда. Дальше шли уже африканцы.

Когда в Лицей на год пришел учиться сын египетского

консула – голубоглазый светлый мальчик, – учителя из новеньких во время переключек всегда шарахались: на «Василенко» вставал Паша со своим арабским лицом и мясистыми губами, а Ахмедом оказывался блондин с тонкими ресницами.

Однажды кто-то помянул мамелюков, вспомнили Пашу, и тот стал Мамелюком.

Знали его за взрывной характер, ненависть к текущей реальности и готовность убивать. Как-то Василенко шел один к остановке, и ватага из соседней школы дала цветовую характеристику его ягодицам.

Паша поднял с земли бутылку и разбил о чью-то голову. Событие – из ряда вон выходящее для Лицея. Изумленная самообороной ближнего, ватага пустилась бежать. Василенко бежал за ними и кричал:

– Идите на хуй, я – Василенко!

Это стало девизом недели, затем месяца и вообще всей жизни Паши. Встретив его в Нью-Йорке через шестнадцать лет, Розенберг закричит на всю улицу: «Идите на хуй – это Василенко». Половина улицы понимающе обернется.

6. Собственно, гусли

В парке было холодно.

Впрочем, об этом можно и не упоминать: в семь ноль-ноль в ожидании драки всегда холодно.

Мы приехали на час раньше. Не спалось. По дороге подобрали Кагановича, который накануне измучил всех жалобами на расписание троллейбусов в ранние утренние часы.

Арчил нервничал в ожидании не избиения, но позора.

– И это все ты виноват, – традиционно сказал он мне. – Поперся, куда не просят.

– Я просто хотел нормально ходить по этой улице.

– Нас кто трогал? Никто. И-и-и-и!

Арчил сокрушался из-за необходимости регулярно иметь дела со шпаной и не иметь возможности позвать на выручку нормальных пацанов. Последнее, как я считал, все испортит.

Появился Розенберг, шея его была обмотана бело-синей шалью. В руках он держал нечто странное, по силуэту напоминавшее гусли.

– Гусли?! Ты заболел? – сказал я.

– Это не гусли! Это иудейская боевая лира. Как у царя Давида.

– В Грузии тоже есть царь Давид, – сказал Арчил и, выкинув бычок, продолжил: – Но он был нормальный. С мечом дрался.

– Да вы ничего не понимаете, это стилизация. Это талит, – ткнул в шаль Розенберг, – а это лира царя Давида. Ну, понятно?!

– Понятно то, что я был прав, Князь. Давай уходить, с этими долбениями те драться не будут – плюнут на них и уйдут.

– О, Розенберг! Ты принес гусли! – подошел Эпштейн.

– Это не гусли, блядь! Это лира! Иудейская боевая лира!

– Я всегда говорил, что этот твой боевой иудаизм закончится в Кашенко.

– Да пошли вы все!

К счастью, в этот момент появился противник.

7. И вновь продолжается бой

Розенберг пошел договариваться о деталях. Очень удачно оставив гусли и молельную шаль под деревом. Вернулся бодрым.

– Во-первых, они спрашивают, что это за хуй с камерой. Это про тебя, Андрей. А во-вторых, рады, что главный еврей пришел – это они про тебя, Князь.

– Про меня???

– Ну.

– С хера ли это я главный еврей, гусли-то не я принес?

– Ну, я сказал, что ты не при делах. Но сам понимаешь, имя Роберт, крупный нос, очевидно же, что ты – еврей.

Я долго трогал свой нос. Всю жизнь считал его маленьким. Не миниатюрным. Но маленьким. Комплексы зародились именно в тот миг.

– То есть?! Мое имя на древнегерманском означает «неувядаемая слава», у меня нет финно-угорской курносости, и из этого, что ли, выходит, что я еврей? Какие законы логики дают такие выводы?

– А ты глянь туда. Ты там видишь формальную логику? Они – пацаны из школы с языковым уклоном. Недогуманитарии. Неандертальцы в худшем смысле слова.

– У меня там сестра учится, между прочим, – вмешался Василенко.

– Вот, Паша, я всегда хотел спросить, а твоя сестра тоже такая смуглая? – спросил Эпштейн.

– А я всегда хотел тебе в морду дать.

– Дружище, ты бы к неврологу ходил, все время ругаешься, – сказал Атес.

– Кстати, я знаком с неврологом, который пишет очаровательную некоммерческую фантастику про миры, где все имеют разные нервные расстройства, – сказал Алла.

Так и сказал. Очаровательную некоммерческую фантастику.

– Так это про наш Лицей! – воскликнул Розенберг. – Мир, где у всех нервные расстройства.

Арчил стоял рядом со мной. С другой стороны стоял Савва Григорьев. Пока все, нервничая, болтали и перешучивались, Савва отрешенно глядел на деревья.

– Знаешь, – обратился он к Арчилу, – знаешь, о чем я мечтаю?

Арчил не очень любил разговоры с обычными странными лицеистами, считая это блажью и дорогой к позору.

– Поехать в Амазонию, там столько птиц.

Признаюсь, Савва был странным. А Арчил и вовсе смот-

рел на Григорьева, как будто тот машет перед ним гениталиями.

Наконец все подошли, и началось.

Ну, конечно, нас побили. Ведь нам противостоял коллектив психически и физически устойчивых людей.

Но главным достижением было то, что мы выстояли. Не сбежали, не рассыпались на мелкие очаги сопротивления, не пали ниц в слезах. Хотя склонность к носовым кровотечениям добавляла драматичных красок к внешнему виду нашего лагеря. Кровоточила добрая половина.

Безусловным героем был Савва, он случайно унес в нокаут одного из лидеров противника, просто вырубил его. Мамелюк поставил кому-то фингал. Арчил много шумел. Мне, кажется, удалось кому-то порвать одежду.

Вообще все произошло не только скомканно, но и быстро. Когда мы собрались и, приведя себя в порядок, пошли к школе, было всего лишь семь сорок пять.

– Пойдем к Гагарину.

У нас были свои лавочки с шикарным видом на Гагаринскую площадь и памятник.

Мы купили холодной воды и попытались вывести следы крови с маек и сорочек. Алле сломали дужку очков, и все обсуждали, как бы ее склеить. Василенко настаивал, что драку надо повторять каждую неделю и измотать противника регулярностью наших избиений.

Солнце постепенно освещало серебристый колосс с рву-

щимся в небо Гагариным.

– Сегодня у сестры день рождения, – сказал Эпштейн. – Все, кто хочет, – приходите.

– Вот и еврейская after-party организовалась, Князь, пойдешь?

– А что делать будем?

– О, ты новый человек в Лицее, сразу видно. Выпьем по рюмашке сладкого шампанского и будем бесстыдно сверкать брекетами – ничего другого там не светит.

– Да ладно тебе, Розенберг! Кино, «Монополия», карты. Все, что душа пожелает!

На день рождения я не пошел, понадеявшись на «потом», наивно полагая, что потом существует. К слову, сейчас я понял, что так и не познакомился с сестрой Эпштейна.

Мы пошли на урок. Впереди была химия и три года Лицея.

Адюльтер с доской

Учителя физико-математических дисциплин нас не любили. Ну и поделом. Нефиг быть биолого-химическим классом в физматшколе. Хотя, кроме меня, Насти, Арчила, Розенберга и Юли, в классе были и нормальные люди, это никак не меняло трепетного пренебрежения, которое мы ощущали на математике и физике.

Мы были «почти гуманитарии», и этого никто не скрывал. А слово «гуманитарий» в устах интеллигента-физматовца — это крайняя степень унижения человека человеком.

Математику вел... назовем его Готфрид Эдуардович. И у него была одна особенность. Он носил пиджаки из какой-то экспериментальной синтетической шерсти, которые били током за метр и ставили дыбом волосы на руках собеседников. Юля даже рассказывала что-то про соски, но мы не смогли это научно верифицировать. Говорили, что Готфрид Эдуардович сам специально электризует пиджаки на оборонном предприятии, где работает. Был еще вариант подзарядки от химички Инессы Карловны — большой фанатки ионизированной воды, защелачивания кишечника и причесок конца 1980-х.

Еще эти пиджаки будто бы медленно разлагались, оставляя после себя кучу «волосинок», как говорил сам математик. Эти волосинки были повсюду, и по ним можно было

при желании отслеживать передвижения Готфрида Эдуардовича. Именно благодаря обнаружению богатых залежей волосинчатых элементов на юбке и плечах Инессы Карловны возникла и подпитывалась гипотеза об их интимной связи. Была даже научно не верифицированная зарисовка «Электрический минет среди склада химреагентов».

Все это я к тому, что вытирать доску на занятиях Готфрид Эдуардович сам не мог. Вся меловая пыль начинала кружиться и ложилась на него тонким слоем. А поскольку от этой картины у «почти гуманитариев» начиналась истерика, при нас он ничего подобного не делал. Для этого существовал Розенберг. Он сидел на первой парте. Потому что у него были хорея, астигматизм, куриная слепота, голодная близорукость, накопительная дальнорукость и зеркальное ложное косоглазие. А также много других заболеваний глаз, сердца и стоп, которые выдумывала и вносила в личные дела и анкеты сына мама – тетя Софа. Делалось это для того, чтобы армии России и Израиля не просто не призвали Сашу к себе, но в идеале платили ему за отсутствие, понимая, что человек с таким зрением вблизи любого оружия – залог катастрофы.

И вот именно Розенберга Готфрид Эдуардович просил помыть доску и окрестности, дабы начать новый пул унижений будущих биологов, врачей и варщиков метамфетамина.

Памятуя, что всего на боль выделено сорок пять минут, из которых тридцать уже позади, Розенберг мыл и чистил доску

не то чтобы медленно, но наитщательнейшим образом. Это было нечто среднее между кёрлингом и полировкой новой пломбы во рту.

Несмотря на отсутствие всех заявленных в анкетах пороков сердца, сосудов и пазух, Розенберг прилично пыхтел. Готфрид Эдуардович ждал. Однако заметив, что мы с Илоной на последнем ряду начали переписку – не онлайн, а на полях тетради (попробуй объясни молодежи, что это!), – Готфрид Эдуардович родил главное крылатое выражение сезона 2000/2001: «Надеемся, что товарищ Розенберг вскоре закончит свой адюльтер с доской и мы продолжим».

Адюльтер с доской! Это стало фразеологизмом, обозначающим тщетные усилия на ниве отношений, а во втором значении – половой акт с сильно пьяным, спящим, временно неживым партнером.

Я по сию пору пользуюсь этим выражением.

Бесноватые и Трубный глас

Все лицейские годы, где-то начиная класса с седьмого, когда я туда пришел, нас с регулярностью ошибок Гидрометцентра возили по музеям и усадьбам.

Поскольку Лицей считался интеллигентским, а класс биолого-химическим, нам хотели привить одновременно эсхатологическое видение мира и любовь к лишайникам. Для достижения этой цели нас вели, например, на «долгожданную выставку растений семейства кардиоптерисовых в музее им. Тимирязева». Там к нам выходил мужик в очках, которые будто только что обмакнули во фритюр, и говорил:

– Что же, пора уже начать разбираться в таксономии двудольных!

После чего вся грядущая жизнь вырисовывалась нам в красках еще более трагических, чем даже получилось в итоге. С учетом ипотек, казаков с нагайками и программ Малышевой по утрам.

Потом, для закрепления эффекта, мы шли на внеочередную индивидуальную экскурсию по Дарвиновскому музею, с «усиленным акцентом на хабилисов».

Поскольку, напомним, это был пока только седьмой класс, и нам казалось, что все еще хорошо, мы с Розенбергом, естественно, «бесновались».

Это не нравилось ни учителю, ни экскурсоводу, ни, самое

главное, сопровождающему члену родительского комитета.

Отвлекусь на минуту. Только для того, чтобы сказать, как мне не нравится это название – член родительского комитета. Или глава родительского комитета – еще хуже. Звучит как гауляйтер Южной Украины или глава отделения кастраций. Ну да ладно.

Обычно наши «беснования» заключались в том, что мы просто тихо разговаривали. Но, неминуемо, раздраженный голос называл наши фамилии, за которыми следовало жесткое напоминание:

– Это не увеселительная прогулка!

Причем даже прогулка по царицынскому парку считалась «не увеселительной» и имела энергетику Марша смерти (с обязательным занесением в тетради всех окружающих растений).

С тех пор во мне зародилось любопытство. А когда будет «увеселительная прогулка»? И как это? Ее отдельно объявляют? «Завтра будет увеселительная прогулка в парк, бесноваться разрешается» – так?

И вот мы пришли на экскурсию по хабилисам, и член родительского комитета (далее ЧРК) радостно сообщила нам, что заполучила для нашей группы особенного лектора – члена знаменитой тридцать пятой экспедиции в Денисовскую пещеру, ученика самого профессора Грохольского, труды которого в журнале «Актуальные вопросы эволюции гоминид» мы, конечно же, читали, так как нам их рекомен-

довали для внеклассного чтения.

ЧРК наивно полагала, что, придя домой в семь вечера после всех уроков, факультативов по биологии и химии и имея домашних заданий на четыре часа работы, нас где-то за полночь накрывает-таки желание полистать это увлекательное чтение.

Учеником профессора Грохольского оказался молодой человек лет... ну, по паспорту, наверное, примерно тридцати, в свитере времен борьбы с космополитизмом. Не мылся он, судя по всему, с последнего посещения Денисовской пещеры – чтобы не смыть с себя ее благодатную пыль. Еще он удивлял прыщами. Вы даже представить не можете, какие титанические усилия нужны, чтобы удивить прыщами семиклассников биолого-химического класса московского лицея.

В общем, вышел он к нам, повел к стенду с окаменелостями, обернулся и как ведущие кремлевских концертов на День милиции торжественно сказал:

– Хабились! Как много мы о них знаем, и все равно они не перестают удивлять!

Тут-то и случилась беда. Поскольку прогулка была не увеселительная, нас с Розенбергом особенно разбирало посмеяться.

И фундамент нашей истерики был заложен, еще когда кто-то заметил, что экскурсию ведет «последний выживший хабилис». Это было не смешно, и теперь кажется глупым и грубым, но тогда, под взорами ЧРК, все вызывало хохот.

Так что мы были заряжены. И когда уважаемый лектор сказал: «Хабилисы! Как много...», я шепнул Розенбергу: «... в этом звуке для сердца русского слилось».

Тут-то у него и началась истерика.

Проблема заключалась в том, что Розенберг был рыжим. Антропологически. И высоким. И если он смеялся или, тем более, сдерживал смех, то складывался пополам, а лицо его становилось пунцовым, бордовым, иногда синим. И когда он попытался подавить смех, то сразу посинел, громко захрипел и согнулся, обхватив живот. Но купировать приступ хохота не получилось – он заорал, загоготал и выкрикнул что-то вроде «я больше не могу».

Инфернально настроенные учитель и ЧРК подумали, что у него аппендицит, сердечный приступ или что он подавился, после чего Сашу повалили на пол и попытались затоптать.

Поняв, что надо имитировать хотя бы временное недомогание, Саша повалился с минуту, держась за селезенку, и вскочил на ноги, только когда специалист по хабилисам уже собрался сделать ему искусственное дыхание рот в рот.

– Ты уверен, что не стоит пощипывать твой аппендикс? Я умею, – спросила Настя гаснущим голосом.

Если бы у нее на лице не было антиаллергической влажной маски, это можно было бы принять за флирт.

Всю дорогу домой и следующее утро мы предлагали Розенбергу пощипывать его аппендикс. Это было на том же

уровне тупости, но наполняло нас ощущением счастья.

И когда нас двоих позвали к директору, шли мы туда удивительно счастливыми.

Директор отличался пухлыми губами трубача-афроамериканца и застенчивым взглядом серийного убийцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.